

Г. Л. ЛОВЦКИЙ**Лев Шестов. Власть ключей.
Издательство «Скифы». Берлин**

Le coeur a ses raisons que
la raison ne connaît pas.

*Pascal*¹

Не против делегированной в силу известного евангельского стиха наместнику св. Петра власти вязать и решить людей здесь, на земле, направлена новая книга Л. Шестова «Potestas clavium». А против притязаний «вечных» истин на господство над человеческими душами; против деспотической власти идей-богов и всякого рода обобщающих начал; и — last, not least — против тирании нашего самодержавного разума, претендующего на власть ключей не только в области точной науки, но и в сфере философии и даже религии. «Поскребите какого хотите европейца, хоть бы он был позитивистом или даже материалистом, и вы очень скоро доберетесь до средневекового католика, судорожно цепляющегося за неотъемлемое и исключительное право отпирать врата небесного царства себе и своим ближним» (с. 41). Сила принуждения носится не только в дыму инквизиционных костров, но и на острие тонко отточенных аргументов и доказательств. Армия создается «идеологией», всеобщей воинской повинностью одному Молоху, будь то черпающий все из себя королевский разум или идея бога-добра. Философские книги могут быть тюрьмами, где бьется пленной мысли раздражение, а создатели философских систем — палачами, топящими переливающую всеми цветами радуги жизнь в сером «общем», Александрями Македонскими, разрубающими мечом «доказательств» гордые узлы бытия.

Мы сковываем природу законами, наш дух — системой твердых или текучих понятий; и даже над произволом богов человеческая мудрость уже на заре своего существования ставит неумолимую судьбу-необходимость. Из всех сил мы стремимся к оскорбительной ясности наших философских горизонтов, и цель наших философских устремлений — изгнать из философии все гипотетическое, все бурные проявления индивидуальной жизни, не укладывающиеся в рамки неумолимого закона. Уводим ли мы мысль в платоновский храм чистых идей, получивших последнее и «высшее» выражение в идеях-числах, творим ли из собственного разума законы, которые затем предписываем природе, проникаем ли — или, вернее, нам кажется, что мы проникаем — усилием интуиции в непосредственно данное, мы всюду из всех сил гоним тайну, произвол, случай из природы, жизни и накладываем на вселенную, на ее обитателей цепи необходимости, из которых

ни ей, ни людям не суждено во веки веков вырваться, разве ценой... крушения нами созданной философской системы. Но мы пуще всего боимся хаоса, и заветной целью наших философских достижений, в сущности, всегда является математический порядок («интеграция дифференцированного научного опыта», в современной терминологии Бергсона), идеалом — $2 \times 2 = 4$ в философии, и оттого мы придаем такое большое значение применению строгих методологических научных приемов в философии. Уже самым способом подхода к проблемам философская система вас хочет сразу убедить, что она одна — в «истине». *More geometrico, de omnibus dubitandum* — все это средства смирить непокорные, мятущиеся человеческие души, на минуту усыпить их тревогу, чтобы с тем большей легкостью сковать их общим началом, общей «истиной», из власти которой им никогда уж невозможно, не суждено вырваться.

Как Протей, это общее начало принимало различную внешнюю оболочку то судьбы, то логоса, то сократовского добра, то изменчивую форму какого-нибудь освобождающего слова — насчет освобождающих символов-слов человеческая фантазия особенно щедрa! — но в основе лежало все то же неумиряющее стремление сделать свою истину законом не только для всякой живущей твари, но и для Бога.

Кантовский бог — бог по аналогии, мастер вселенной; «мыслящий дух» XIX века — получает откровение в диалектическом раскрытии идеи божества; а рационализм XX века уже открыто признается, что его истина существует раньше ангелов и богов. Зачем ему Бог, коли он находится в обладании чудесным талисманом в образе вневременного царства идей, в виде логического закона?! И то, что этот закон может дать, того не в состоянии осуществить даже божественное всеведение! *Was das Gesetz als ideale Einheit leistet, nämlich in der Weise der allgemeinen Aussagebedeutung eine Unzahl von möglichen Einzelfällen logisch in sich zu befassen, das kann keine Anschauung, und wäre es die göttliche Allerschauung, leisten*. (*Husserl. Log. Untersuchungen. 3-te Aufl., 1922. II. 1. S. 168*).

Одним Бога не нужно: логический аппарат им вполне Его заменяет; другим нужен бог, соответствующий религиозному сознанию нашего шагнувшего вперед по лестнице развития времени; а третьи находят, что пути в потустороннее вообще заказаны. Скажем сразу: и Юм, и Кант правы. Идея божества бледнеет в свете испытания разумом, и ума холодные заметы не могут дробить метафизической стены. Мы можем экспериментально изучить свойства того «чудесного механизма», которым нас снабдила природа, чтоб убедиться лишний раз, как холодное размышление совершает преступление из преступлений — умерщвляет в понятии, убивает Бога.

* * *

И это преступление мы совершали не раз. И тогда, когда подменивали Бога судьбой, железной необходимостью, сократовским добром, эллинским разумом; и когда слепые «искали» и «доказывали» Его по тому или иному научно-философскому методу; и даже тогда, когда, произнося разные мистические заклинания, связывая себя громкими символами-словами с недоступным человеческому пониманию, мнили без мистического опыта, без духовного горения и сгорания приобщиться к Божеству.

«Человечество живет не в свете, а во тьме, окутанное одной непрерывною ночью. Нет, не одной, и не двумя, и не десятью — а тысячью и одной ночью! И “история” никогда не приведет “человека” к свету. Да “человеку” свет и недоступен. “Человек” может построить башню — но до Бога он не доберется. Добраться может только “этот человек” (всё гегелевская терминология) — тот единичный, случайный, незаметный, но живой человек, которого до сих пор философия так старательно и методически выталкивала заодно со всем “эмпирическим миром” за пределы “сознания вообще”» (с. 24). Но нужно, чтобы страшные события ударили по сердцу с неведомой силой, тогда лишь слабый мыслящий тростник пробуждается от спячки ленивого бытия и пытается измерить глубину той пропасти, в которую он ввергнут, и откуда его мятущаяся душа тщетно взывает к Тому, кого он с такой легкостью отверг и потерял. Разве с этой потерей может сравниться хотя бы одна из утрат, испытываемых нами здесь — на отмели времен?! Ужас, холод, одиночество на краю пропасти, на пороге смерти взывают к Нему... Кто тут еще может говорить о логике, об оправдании веры разумными доводами?

Весь ужас опустошенной души из современных философов особенно сильно испытал Ницше. «Может быть, если бы Ницше воспитался на Гегеле, он бы до конца своей жизни не заметил, что гегелевский бог — есть только замаскированное безбожие. И только потому, что Шопенгауэр приучил его говорить правду о философском боге, ему дано было почувствовать, какое преступление совершили люди, обоготворив и создав культ общего понятия (или “идеального”» (с. 21).

В отчаянии утопающего Ницше попытался воскресить в своей философии опьянение античной мифологией утверждающего жизнь сверхчеловека — *Dionysos gegen den Gekreuzigten*. Но знает ли история размеренный ритм приливов и отливов? А что если повторяющиеся циклы культурных расцветов и отмирающих цивилизаций — звонкая монета, пущенная в обращение Шпенглером, как и прототип ее — идея вечного возвращения, — такое же измышление нашего разума, привыкшего искать, судить и даже предвещать лишь по аналогии, как его привычная работа по установлению закономерности явлений

природы? «Религия страдающего бога» — это только внешнее повторение символа, принесенного из колыбели всех религий — Востока; без его внутреннего содержания — это лекарство, которое глотает безнадежно больной философ упадка. Его терзает и разрывает на части внутренняя раздвоенность: поочередно он заглядывает в лицо то Медузе безграничного сомнения, то в величавом безумии гордой уверенности приносит человечеству новые скрижали «ценностей» — он всего только вопрошающий дух между двумя пропастями!..

* * *

Отчего же мы в области философии вертимся как белка в колесе, точно идея вечного возвращения на историческую арену тех или иных философских течений празднует здесь воочию свою победу? И мы не только безнадежно возвращаемся к одним и тем же берегам, но и влачим за собой непомерно тяжелую цепь исторических наслоений. Философия хочет быть строгой наукой. Но ни в одной из точных наук не придет в голову считаться с давно отжившими воззрениями и накапливать так добросовестно исторические «богатства-заблуждения». И что всего печальней: вслед за горами и горами промываемого нами в неустанном труде философского песку незаметно уплывают крупницы единичных озарений-истин и тонут в море «общего», доступного всем знания. Чтобы проникнуть в отдаленные закоулки, куда обычная научная обработка философских систем выбрасывает весь «мусор и хлам» кричащих противоречий, все единичное, случайное, необычайное, забравшееся в систему в минуту ли молодого вдохновения, как это было у Платона, в минуту ли душевного подъема и творческого озарения, как это бывало у Паскаля, Шопенгауэра, Ницше, — чтобы выявить эти незаметные сокровища единичного душевного опыта, нужно не только иметь свой особенный глаз, но и чуткое ухо. Недаром Платон сказал: «Философия — величайшая музыка, и я ею занимаюсь» («Федон», с. 61). И великий философ в минуты творческого озарения пел так, как поют лишь вещицы птицы Аполлона, когда их овеивает дыхание смерти.

В научную обработку философских систем попадает только густая сеть назойливо звучащих, легко запоминаемых толпой лейтмотивов, а свободно льющаяся, вдохновенная мелодия, тайна для непосвященных (ср. «Федон», с. 64), с трудом пробивается, как молодая травка из под могильной плиты системы.

Задача Шестова — прислушаться к этой по временам очень жуткой, но всегда необычайно яркой музыке и выявить то, мимо чего научная философия обыкновенно проходила почти без всякого внимания. Мифология, анамнезис у него бурно врываются в платоновскую академию, куда был запрещен вход всем не искушенным в геометрии; самые идеи платоновские берутся не в периоде окончательной кристаллизации

в «очевидные» для всех положения, а в момент творческого вдохновения, когда реальные вещи были для Платона только бледными тенями настоящих реальностей, тех реальностей, которые наша душа видела в прошлой жизни, увидит своим глазом в будущей (с. 198–200). Надо вместе с псалмопевцем Плотинем на крыльях экстаза перенестись из «умопостигаемого» мира с его порядком, водворенным грубой силой доказательств, в другой мир, где не топят живого Сократа в понятии «человека вообще». Надо противопоставить философию сердца мыслящего тростника — власти ключей-идей, скучным и постылым «вечным» истинам земли; свободу видения и слышания — принуждению проповеди; и страстно, изо всех сил защищать единичное, «случайное», таинственное, выстраданное, индивидуально значительное — против преодоления и обесцвечения в понятии, против науки о несуществующем «общем».

* * *

И в этом резкое отличие Шестова от Джемса, который даже в «Многообразии религиозного опыта» старается выявить нечто общее индивидуально окрашенным религиозным переживанием и вывести это общее за скобки как единственно ценное в «безумии» веры, из чего философия может сделать практическое употребление. И у Джемса, в конце концов, — как будто желание метафизического прорыва средствами единичного опыта, даже опыта ненормальных, неуравновешенных людей, который до него обычно выбрасывался академической философией за борт, и в то же время — тайная боязнь хаоса, слишком близкого подхода к краю пропасти, боязнь резких, слишком резких диссонансов, вносимых иными религиозными переживаниями мятущихся душ в созданный им стройный концерт своеобразного политеизма. Не оттого ли у Джемса нет глаз для страшных мук религиозных переживаний Ницше, нет слуха для того жуткого реквиема, который поет «лучший из юмористов» *de profundis* своей *Matrazengruft*?

Философ современности, не порвавший окончательно с привычками научного мышления, до того боится хаоса, что готов даже на установление двух порядков (*l'ordre inerte*; *l'ordre vital, voulu* Бергсона), только бы не отдаться целиком свободе, неустроенности, «нелепости» откровения, творческому «да будет». Не говорим уже о рационалистах чистой воды, для которых логическая истина — тождественно единая, воспринимают ли ее в суждениях люди или чудовища, ангелы или боги, — существует раньше вселенной, раньше людей и богов (Ср. *Husserl. Log. Unt.*, 3-te Aufl., I. S. 117). Мыслителей последнего рода никакие *memento mori*, никакие грозные события не заставят пересмотреть их тленные «сущности»: они не могут вырваться из душного, упорядоченного нашим разумом космоса, сбросить с себя ярмо идей

и свободно уйти в темную, беспроглядную ночь на край пропастей, где каждый шаг грозит гибелью; не могут уйти от сна жизни, в которой мы, нечувствительные к самым важным вещам, блуждаем с непоколебимой уверенностью в самоочевидности и общеобязательности выработанных научным методом философских истин. Но кто хочет свободно видеть и слышать в философии, тот должен прежде всего вырвать грешный логический «глаз», создающий иллюзию «вечных» общих понятий, и заменить его метафизическим чутьем — особенным чувством, еще не нашедшим себе места в современной психологии (с. 276). Тогда и только тогда он найдет дорогу во тьме тысячи и одной ночи к одиноким вершинам-великанам, к мгновенным озарениям мятущихся душ, к единичным истинам, позолоченным первыми лучами восходящего солнца.

Философия — самое значительное (Плотин) — не хочет и не может быть наукой: «...достаточно “понять”, т. е. сорвать и вкусить плод с дерева познания добра и зла, чтоб лишиться доступа к остальным чудесным деревьям, в таком роскошном изобилии наполнявшим сады Эдема» (с. 108). «Ведь разум и есть тот огненный меч, которым отгоняет поставленный Богом ангел людей от врат Эдема» (с. 278). «Общее» и «необходимое» подрезывает корни дереву жизни. Нужно взрывчатым материалом единичного опыта взорвать ту общую стену, которой мы себя добровольно окружили, чтобы выйти на простор к истокам всего, чтобы вновь найти потерянного Бога.

С. В. ЛУРЬЕ

Странник по душам

(По поводу «Власти Ключей» Льва Шестова)

«Странствование по душам» — заглавие книги Льва Шестова, имеющей появиться в ближайшем будущем на французском языке. Заглавие это, в сущности, применимо ко всему, что до сих пор вышло из под его пера. Свой опыт и свои искания он проверяет на живом опыте великих людей прошлого и настоящего, и по характеру своего «странствования по душам», по подходу к философской и религиозной проблеме, он занимает совершенно особое место в философской литературе, в частности в русской философской литературе. Наши философы устремлены вперед; для них прошлое философии — ряд ступеней для дальнейшего восхождения. Философия не разрешила «проклятых вопросов», мучительно тревожащих мысль, по крайней мере, не дала бесспорных, определенных ответов, какие дает в своей